

Новая Польша 9/2013

0: ИНТЕРВЬЮ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА

О КОРНЯХ

— *Ваша фамилия [Bahr], 2-й посол, похожа на немецкую; я знаю о том, что многие ваши родственники проживают в Кракове, который долгое время входил в состав Австро-Венгрии; наконец, одно время вы сами жили в Австрии. Правильно ли я догадался, что семья ваша имеет австрийское происхождение?*

— Хотя не обо всех предках у нас сохранилась информация, но действительно, насколько можно судить, мои предки переселились сюда, в Краков, в конце XVIII — начале XIX века из Австрии. Сохранилась традиция считать, что прибыли они с территории нынешней Словакии — из окрестностей города Кошице. Вообще в пользу австрийского происхождения моей семьи свидетельствует и то, что большинство моих предков жило в южной части нынешней Польши — в Закопане, Новом Тарге, Тарнуве — а также ближе ко Львову.

В годы Первой Мировой войны мой дядя, будучи солдатом австрийской армии, попал в русский плен и оказался в лагере в Лифляндской губернии. У меня осталось около двухсот писем, которые он написал в это время. Это такие обычные письма человека, который находится в плену и пишет совсем простые вещи типа напоминания дочери о необходимости закрывать окно, чтобы не простудиться.

После Февральской революции он вернулся в Польшу. Точнее, на польские территории, потому что польского государства тогда еще не было. В нашей семье сохранился выданный властями города Владимира документ о том, что два поляка — мой дядя и его товарищ — направляются в Польшу.

— *То есть ваш дядя уже воспринимался как поляк?*

— Да.

Отец мой родился уже в Кракове. И я тоже. И когда в определенный момент моей жизни мне пришлось получать в Австрии политическое убежище, то я немножко воспринимал это как своеобразное прикосновение к прошлому своей семьи.

— *Расскажите о том, что предшествовало вашей эмиграции.*

— Сначала я трудился в качестве научного сотрудника в Горно-Металлургической академии в Кракове, а потом переехал в Ополе, в Силезский институт. В 70-е годы меня оттуда взяли на работу в МИД.

— *Вы с самого начала работали в науке как социолог?*

— Да, сначала я читал студентам курс социологии. А потом в Силезии, так как я знал немецкий и румынский языки, мне предложили заниматься темой немцев в Румынии. Но этим заняться я не успел, потому что меня пригласили перейти в МИД тогда еще Польской Народной Республики. Там я проработал около семи лет.

— *Вы работали в стране или за границей?*

— Я работал и в стране, и за границей. Сначала — в Варшаве, потом меня послали в Женеву, где проходила Конференция по европейскому сотрудничеству. Там мы были самой молодой делегацией...

— *В каком смысле «молодой»?*

— Просто по возрасту: в состав этой делегации пригласили молодых людей. Тогда был такой подход.

Потом меня послали в Румынию, где я провел четыре года. Затем вернулся в Польшу, где работал в МИДе в отделе, который занимался, в частности, Румынией.

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Когда в декабре 1981 г. в Польше было введено военное положение, то я при довольно-таки драматических обстоятельствах (пройдя партийный суд) отказался от работы в МИДе и вернулся в Краков. Здесь «Солидарность» помогла мне устроиться научным сотрудником (но без контакта со студентами) в библиотеку Института международных отношений. Это было очень хорошо для меня: действовало военное положение, а мы сидели среди чрезвычайно интересных книг и могли не только критиковать коммунистов в своем кругу, но и что-то полезное для себя читать. Как и бывает при настоящем авторитаризме, тамошняя моя работа (так же как и зарплата) была чисто символической, и я смог подготовить там ряд материалов, изданных затем в подполье.

— Простите, но я не понял, каким образом находящаяся на нелегальном положении «Солидарность» могла помочь вам в трудоустройстве.

— Люди, которые состояли в объявленной вне закона «Солидарности», занимали должности деканов, профессоров в университете, и от них кое-что зависело. Конечно, в каждом учреждении и высшем учебном заведении находились и офицеры для поддержания военного положения, но действовали также какие-то научные советы, профессора из которых и помогли мне найти место. Ведь в то время, если у тебя не было работы, тебя могли запросто счесть тунеядцем, что закончилось бы какими-то неприятностями.

— Скажут ли что-нибудь русскому читателю фамилии этих ваших доброжелателей? Стал ли кто-нибудь из них затем известен в России?

— Нет. Это в первую очередь профессор Гвидон Ришак. Или специалист по международному праву и политологии профессор Соболевский. Или, например, профессор Гжибовский. Все они уже умерли.

— А почему вы, член партии, так болезненно восприняли военный переворот? Ведь согласно результатам опросов общественного мнения на протяжении всех последних двадцати с лишним лет поляки оказались примерно поровну поделены между теми, кто уверен в том, что введение военного положение спасло их страну от советской интервенции, и теми, кто считает его коммунистическим преступлением.

— Я принадлежу ко второй половине. Я считаю введение военного положения в Польше страшной трагедией и жалею о том, что виновные в ней до сих пор практически не понесли наказания. Проблема не в том, чтобы того или иного генерала — старика под девяносто лет — увидеть в тюрьме. Мой подход другой: они должны быть наказаны для того, чтобы никто в будущем не посмел больше поднять руку на свой народ.

Если кто-то оперирует данными о том, будто бы жертв военного положения было мало, то это абсолютная чушь! Потому что если человек нормально смотрит на жизнь, то жертва — не только тот, кого убили, но и, например, тот, у кого убили надежду. Жертва и тот, кто был вынужден получить загранпаспорт в одну сторону — как это тогда происходило. (При Ярузельском вышел такой закон с целью постараться выбросить нежелательных людей из страны.) И я своими глазами видел людей, которые никогда не уехали бы из Польши, потому что у них не было даже психологической подготовки для жизни за границей.

Отдаленные жертвы введения военного положения и та половина поляков, которая считает сегодня, что оно было вполне приемлемо, потому что многие из них уже не представляют себе, какой при этом был нанесен урон нормальной жизни и какие были введены идиотские правила поведения. Я приведу один пример... Тогда нельзя было выходить из дома в определённое время — с девяти вечера и до шести утра или как-то так. Мы были в гостях у своих знакомых в Кракове, и когда возвращались, то трамвай опоздал. У нас оставалось только пять минут, и мы быстро побежали от остановки. В это время я вдруг подумал: что происходит? Я житель этой страны, и это мой город и моя улица. Я ничего плохого не сделал. Я пил кофе в гостях и не виноват в том, что трамвай опоздал. Зачем мне вести себя, как идиоту, который бежит, хотя у него нет такого желания? И после этого я пошел медленным шагом. Мне стало абсолютно всё равно, задержит меня милиция или нет. Я знал, что если бы меня в этот момент задержали, я был бы внутренне в десять раз сильнее, чем тогда, когда бежал, и спокойно бы это пережил. Кто-то может сказать: ну какая это проблема? Нет! Это — унижение. Проблема прежде всего в том, что это — унижение.

Я не хочу входить в детали — вошла ли бы в Польшу советская армия или нет. Это пусть определяют специалисты. Хотя сейчас известно, что по разным причинам это было маловероятно. Но, конечно, никто тогда этого не знал...

— ...Кроме генерала Ярузельского, которому главком войск Варшавского договора Куликов лично передал соответствующее решение нашего политбюро.

— Но я только хочу сказать, что с самого момента введения военного положения было абсолютно ясно, что оно идёт вразрез конституции и законности. И наказание людей, которые тогда это сделали, должно послужить тому, чтобы такое больше никому и никогда не пришло в голову. Во всяком случае на нашей территории.

— Ранее вы признались мне, что самой неприятной для вас была бы необходимость пожать руку генералу Ярузельскому. Из чего я делаю вывод, что этот переворот просто оскорбил вас лично.

— Я не рассматриваю военное положение через призму личного отношения, потому что были люди, судьба которых сложилась тогда намного-намного тяжелее, чем у меня. Например, в Польше были тысячи людей, которые просто оказались в тюрьмах. Как я уже сказал, я испытывал чувство унижения, оттого что каждый день вводились всё новые и новые запреты.

Я оказался в специфической ситуации, потому что был единственным дипломатом из польского МИДа, который, находясь в Польше, выступил против военного положения. Выступил публично, сказав: «Я не хочу работать в МИДе. Пусть работают те, кто понимает необходимость введения военного положения».

При этом я еще не имел информации о том, что муж моей сестры — декан в одном из краковских вузов — был арестован и получил срок три года. (Он просидел 16 месяцев.) Так что зачем же мне сравнивать себя с теми, кто потерял намного больше моего — потерял свободу (в буквальном смысле слова)?

— Некоторое время назад в Москве выступал известный деятель тогдашней «Солидарности» Вальдемар Кучинский, который с таким восторгом и упоением смаковал комфортабельные условия своего заключения во время интернирования (дом отдыха высшего командного состава польских ВВС), что у иного человека с психологией раба или холода могли просто слюнки потечь от зависти. (Он, кстати, и Ярузельского защищал.) Вы, я вижу, относитесь к этому по-иному.

— Он принадлежал к самой верхушке тогдашней «Солидарности», и, может быть, с ним обращались по-другому, нежели с большинством интернированных. Но передо мною пример моего шурина, который находился в обыкновенной тюрьме. В ней, можно сказать, интеллигентов не били (дубинками), но рабочих уже били.

Я никогда не забуду рассказ моей очень пожилой родственницы, которая в своё время сидела в лагере Аушвиц-Биркенау и рассказывала про него только одно — как она играла в лагерном театре. И если смотреть на Аушвиц с точки зрения существования там театра, тогда получается, что это было такое довольно-таки легкое для сидения место.

Я знаю, как меняется образ мыслей человека спустя много лет после пережитых им даже страшных событий: много лет спустя всё кончается анекдотом. Как социолог я много такого выслушал. Но важно значение этого примера для всего народа. Нужно, чтобы люди понимали, говоря словами Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. А это было плохо, кратко говоря.

— Еще интересный для меня сюжет — ваша подпольная деятельность.

— Во время военного положения, когда я еще жил в Кракове, это было сотрудничество с католической Церковью. Я, например, делал подборки цитат из разных выступлений Папы Иоанна Павла II, посвященных Европе, труду, значению для человека его чести или родины... Из них делались брошюры, которые издавалась Краковской курией и шли потом в первую очередь на заводы — чтобы рабочие имели источник нравственных знаний.

Кроме того я тогда подготовил работу, посвященную отношениям с нашими соседями, которая называлась «Формы польских пространств». Это была брошюра, в которой содержались разделы «Восток», «Запад», «Север» и «Юг», и в каждом из них были мои заметки о соответствующем регионе, но особенно богато были представлены польско-украинские отношения. Когда я оказался на Западе, та ее часть, что была посвящена польско-литовским отношениям, оказалась издана представителями литовской эмиграции на литовском языке, а также по-немецки и по-английски.

— А в подпольной прессе вы не печатались?

— Нет. Мы с сестрой ездили на свидания с моим шурином и занимались разными другими связанными с этим вещами. Когда власти обратили внимание на эти наши частые визиты, то стали переводить его в тюрьмы всё дальше и дальше от Кракова — почти что до немецкой границы. Поэтому довольно-таки много времени мы

проводили в поездах. Вообще жизнь тогда была нелегкая, люди были озабочены выживанием, и много времени мы проводили в очередях. Но это русские должны хорошо понимать.

Помогали мы и другим людям. Даже в том месте, где мы с вами сейчас находимся (деревня Мышкув под Краковом. — АП) мы прятали одного человека из «Солидарности».

В ЭМИГРАЦИИ

Потом, когда после отмены военного положения стало возможным выехать из страны, решение об этом мне было принять легко. Я тогда подумал: у меня всего одна жизнь, я хочу учиться дальше, а в моей стране ситуация сложилась такая, что кто-то мне может диктовать, какую книгу я должен читать и какую мне читать нельзя. А я не мог никому позволить определять, чем я должен заниматься в плане интеллектуальных занятий. И поэтому решение выехать ко мне пришло с легкостью. Одновременно я был совершенно уверен, что вернусь. И поэтому не поехал вместе с другими членами своей семьи в Америку, а остался недалеко от Польши.

— *Вы только в силу этого выбрали Австрию или еще из-за каких-то причин?*

— В рамках сотрудничества между двумя старейшими университетами этой части Европы — Ягеллонским в Кракове (основан в 1364 г.) и Венским — австрийцы организовали у себя курсы немецкого языка. Наши коммунисты захотели показать, что после отмены военного положения научное сотрудничество возвращается в нормальное прежнее русло, и дали возможность людям поехать туда учиться и заниматься исследованиями. Мой институт как раз хотел послать меня туда, и я оказался в составе такой группы. А поскольку немецкий я уже более-менее знал, то попал на курс не для начинающих, а для совершенствующих свой язык.

Стоял и другой вопрос: я должен был сам оплатить свою поездку, а из Кракова до Вены на поезде — чрезвычайно близко. Когда Краков еще принадлежал Австрии, некоторые представители местной интеллигенции могли себе позволить ездить в Вену на уик-энд — в оперу. Я в оперу не попал, но попал в страну, которая дала мне свободу.

Приехал я туда с 27 долларами в кармане, из которых 19 отдал за учебники немецкого языка. Так что питался я привезенной с собой колбасой, которую каждый выезжающий за границу поляк считал почти что частью своего тела и которую всегда брал с собой. Я удивляюсь тому, что до сих пор люблю эту колбасу, хотя первые две недели питался только ею плюс чаем. И ничем больше!

— *Простите, а как называется эта знаменитая колбаса?*

— Это краковская колбаса. Это самая лучшая колбаса.

Когда много лет спустя я был послом в Туркменистане, меня однажды принял не президент Ниязов, а глава мнимого парламента Туркменистана. Этот спикер был абсолютным стариком, которому было бы трудно ответить даже на вопрос о том, как его фамилия. Разговор между нами получился сложным, потому что он не очень внятно отвечал на мои вопросы, а я не очень хорошо понимал, что его вообще интересует. И когда вдруг он узнал, что я из Кракова, я, наконец, увидел в его глазах какое-то понимание. Он сказал: «Да, у вас — хорошая краковская колбаса». Я еще что-то об этой колбасе ему рассказал, а на следующий день, представьте, в местной русскоязычной газете я прочитал информацию про свою встречу с этим человеком, в которой говорилось о том, что важным элементом нашего разговора было возможное сотрудничество между Польшей и Туркменистаном в области сельскохозяйственного производства. Поэтому, когда мы говорим про краковскую колбасу, то я считаю это серьезным, даже трансконтинентальным вопросом.

— *Итак, после этой учебы вы приняли решение остаться в Австрии...*

— Да, я сделал соответствующее заявление, и через три недели после окончания курса меня поместили в лагерь для беженцев Трайскирхен вблизи Вены. Это разместившийся в бывшем военном городке огромный центр, в котором тогда было около полутора тысяч человек из разных стран, а всего он мог принять до трех тысяч человек. Я начал проходить процедуру получения политического убежища, которая в отношении меня была очень тщательной, потому что я не был обыкновенным иностранцем, захотевшим остаться в Австрии: мне задавали вопросы о моей прежней деятельности, в частности в МИДе. Но нашлись люди, которые сказали про меня то, что надо. В итоге я получил политическое убежище и мог жить в Австрии или выехать куда захочу.

Там я много учился. Я получил немецкую стипендию, которой мог воспользоваться в том месте, где захочу, и занимаясь тем предметом, каким захочу. Это было очень удобно для меня, и я решил поехать в Мюнхен, в

Свободный украинский университет — практически единственную такую институцию в Западной Европе. (Подобные ей были в Канаде и, может быть, где-то еще, но не в Европе.) Там я четыре месяца занимался разными очень интересными темами.

Кроме того, когда я оказался на Западе, то сотрудничал с «Посевом», ездил во Франкфурт и Париж на разные встречи, проводимые этим издательством. Конечно, я сотрудничал с литовским эмиграционным центром, с организованным очень известным польским ксендзом Бляхницким католическим центром (он назывался «Христианская служба наций» или как-то так) и с другими эмигрантами, хотя некоторые из них придерживались довольно-таки далеких от меня взглядов. Например, украинские националисты. Один из них был Ярослав Стецько — глава правительства, организованного украинцами во Львове в июне 1941 года. Его жена Слава Стецько после обретения Украиной независимости вернулась на родину и стала известным членом украинского парламента.

Через год-полтора началась перестройка, гласность, и мы, люди с востока Европы, с каждым месяцем всё сильнее чувствовали, что суть происходящего — это не поверхностная корректировка социализма, а нечто особенное, уходящее всё глубже и глубже. Я тогда как раз работал в советологическом центре Швейцарского Восточного института в Берне, куда нас пригласили, потому что мы умели читать между строк, и как раз для того, чтобы мы этим там занимались. И нам было видно, как эти процессы набирают силу просто с каждым месяцем. Связано это было со всеми теми проблемами, что проявились во второй половине 80-х годов, в том числе в тогдашних прибалтийских республиках.

Так что пять с половиной лет в разных исследовательских центрах на Западе я занимался прежде всего Восточной и Центральной Европой, а потом решил вернуться в Польшу. Я написал первому посткоммунистическому польскому министру иностранных дел Скубишевскому письмо, в котором сообщил о том, что хочу работать в польском МИДе, и очень быстро получил положительный ответ.

СНОВА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Я вернулся в Варшаву, после чего меня очень быстро направили в Москву начальником политического отдела посольства (мы тогда меняли людей в посольстве), куда я приехал за три недели до, как у нас говорят, «путча Янаева». Так что приехал в чрезвычайно интересное время и стал наблюдать за Россией уже не из австрийского, немецкого или швейцарского далека, а изнутри.

В должности советника посольства я проработал с 91-го года до 92-го, после чего меня послали создавать генконсульство в Калининграде, где я оказался первым дипломатом со времен Второй Мировой войны. (До войны в Кенигсберге было 17 консульств.)

Когда я приехал, то, как это принято, захотел познакомиться с местными властями и попросил аудиенции у главы областной администрации. У меня получился очень хороший разговор с Юрием Маточкиным и другими представителями власти, а на следующий день «Калининградская правда» на первой странице написала: «Нас признали». Для меня это был шок, потому что я эту встречу считал не каким-то политическим жестом, а частью нормальной работы дипломата.

Отдаленность Калининграда от политической жизни и от нормальной жизни вообще была такой огромной, что я понял, насколько сильна там была потребность в появлении людей извне и в том, чтобы жить немножко по-другому в смысле контактов. Это было для меня наиболее интересным.

Наряду с очень сильными консервативными и откровенными коммунистическими тенденциями там существовало и желание выйти на пространство нормальной жизни; люди были заинтересованы в Польше. (Хотя, конечно, Польша тогда сама делала только первые шаги в этом направлении.) Это стремление к новому выражал такой интересный человек, как писатель-маринист Юрий Иванов, который был для меня символом такого устремления России. (К сожалению, он очень рано умер.) Более влиятельным выразителем этих тенденций был глава администрации Маточкин.

Тогда только открывались возможности сотрудничества Польши с Калининградской областью. С юридической точки зрения наши отношения являлись ещё белым пятном, и никто не знал, какие на этот счёт существуют правила, что можно делать, чего нельзя; было много криминала. Конечно, с точки зрения консульства, которое только формировалось, это было сложное время.

В Калининграде я проработал два года, и это было чрезвычайно интересное для меня время. После этого я вернулся к работе в польском МИДе.

— *Я вижу, что годы, проведенные вами в Калининграде, произвели на вас такое глубокое впечатление, что вы до сих пор пристально интересуетесь делами этого города и даже создали посвященный ему небольшой домашний музей. Эту целую комнату экспонатов о Кёнигсберге/Калининграде вы даже собираетесь подарить городу Ольштыну.*

— Да, это правда. Жаль только, что это не янтарная комната. Конечно, моя работа в Калининграде была очень важным толчком к этому, но заниматься историей Калининграда (или, как его называют поляки, Крулёвца) я стал ещё в начальной школе. И предметы, которые вы видели у меня в этой комнате, я начал собирать намного раньше — везде, где я бывал.

И потом, будучи послом в Литве, я тоже смотрел на историю и настоящее этого города, но уже с литовской точки зрения, тоже чрезвычайно интересной. Это многогранная тематика, которую можно рассматривать с любой точки зрения — российской, немецкой, польской, литовской, а также в разрезе отношений между Россией и Евросоюзом в целом.

УКРАИНА

...В Варшаве я работал директором 2-го (Восточного) департамента МИДа, где занимался в том числе и отношениями с Россией. В это же время у нас началось более интенсивное сотрудничество с Украиной, в ходе которого мы коснулись и чрезвычайно трудной проблемы истории отношений между поляками и украинцами, начались первые контакты научных работников двух стран, возникла идея формирования польско-украинского миротворческого батальона... Эти два года в МИДе оказались для меня очень интересными.

Следующие четыре года я провел на Украине уже в качестве посла, и это время считаю самым счастливым периодом своей жизни. Я узнал Украину как чрезвычайно интересную и важную страну и не скрываю своей любви к украинской культуре. Вообще возрождение Украины как государства — феномен чрезвычайно важный как для Польши, так и для всей Европы.

— *Украинский язык вы выучили, уже будучи послом в Киеве?*

— Нет, я учил его, когда мне было 18-19 лет, потому что в моем образе мыслей была установка узнать наших соседей такими, какие они есть, а не такими, какими они казались на тогдашней карте Европы.

— *То есть в вузах «Народной Польши» были кафедры украинистики?*

— Когда я был школьником, то старался дойти до всего не официальным путем, а встретить такого украинца или человека, владевшего украинским языком, который бы согласился учить молодого парня. И это получилось. (Это были личные связи.)

— *То есть вы брали частные уроки?*

— Частные уроки. И это было нелегко. Конечно, в рамках Организации польско-советской дружбы какой-то уголок для украинцев в Кракове был. Помню, что когда они отмечали Маланку (не знаю, как это по-русски — новогодняя встреча по старому календарю)...

— *Старый Новый год.*

— Старый Новый год, да. Я в нем участвовал, и это была для меня возможность встретиться с украинцами.

Не скажу, что украинцы в Польше были в подполье, но любой контакт с ними был редок. И свою организацию они сумели основать только после «оттепели», то есть после 56 го года. Начала выходить их газета — «Наше слово». Конечно, она не была интересной (цензура была особенно строга к ней), и больше всего там было статей типа «Вапновати чи не вапновати?» Знаете это слово — «вапно»? Нет? Это — минеральное удобрение, и для сельского хозяйства это тогда был почти гамлетовский вопрос: использовать или не использовать? Но в качестве контакта с языком и это кое-что давало. Потом, будучи уже послом, я брал уроки украинского языка с целью сделать мой пассивный украинский активным.

— *А Украинский культурный центр на моей любимой в Кракове Каноничей улице был создан после вашей «оттепели»?*

— Я не знаю точно его истории, но могу сказать, что огромная роль в его создании принадлежит профессору нашего Ягеллонского университета Володымыру Мокрому. Насколько я понимаю, этот центр мог появиться

только в освежающей атмосфере конца 80 х. Тем более что Канонича всегда была очень дорогой улицей с точки зрения стоимости каждого квадратного метра. Кроме того все эти дома тогда были в страшном состоянии, и поэтому изначально главная проблема носила финансовый характер. То, что украинцам дали такую огромную территорию, произошло не без влияния католической Церкви, которой исторически принадлежали эти дома. (Насколько я знаю, украинцы получили их в аренду от Церкви.)

Украинский центр всегда был чрезвычайно активен. Там каждый может найти что-то свое: можешь зайти в книжный магазин — единственный такой в Кракове, — где есть огромный выбор книг как для туриста, так и для историка. А хочешь, можешь зайти в украинский ресторан. Или в иконописную мастерскую, где всё время проходят выставки. Так что я очень рад тому, что они получили эти помещения в таком чудесном месте — самом сердце старого города, — и от всей души желаю им продолжения их успешной работы.

ЛИТВА

После Украины я начал работать послом в Литве, где мне, без сомнения, помогло в работе то, что я знаю литовский язык. Имея в виду всю историю взаимоотношений Польши и Литвы, это хорошо, когда поляк знает литовский язык, который довольно сложен.

— *А почему вы стали учить литовский язык, насколько я понимаю, тоже еще в молодые годы?*

— Да, мне было 17 лет, когда я начал его учить. И это было еще сложнее, чем в случае с украинским, потому что тогда в далеком от Литвы Кракове было нелегко найти человека с литовским языком.

Начал я его учить по той же самой причине: уже тогда я понимал, что в XIX веке оставаться литовцем означало практическую необходимость оказаться вне среды польского языка и польской культуры, потому что полонизация Литвы зашла так далеко, как в некоторых частях Украины сегодня зашла русификация. И первыми, кто стал тогда пробуждать литовский дух, были католические священники, учителя и, конечно, те, кто пел старые литовские песни. И таким образом они смогли защитить свой язык.

Я помню, как мы с президентом Квасневским во время его прощального визита в Литву побывали на празднике песни в Каунасе. В какой-то момент более трех тысяч человек начали петь (почти что кричать) некую патриотическую песню, и президент Квасневский сказал: «Сейчас я понимаю, почему даже нам не удалось победить их». Мне это очень понравилось, потому что это было очень точно подмечено. В этой песне была выражена вся сила этого небольшого народа.

Я думаю, что если бы они были под нашим или российским влиянием еще дольше и не имели бы этой передышки между Первой и Второй Мировыми войнами, то они бы растворились в польской и русской культуре. Поэтому человек с польской стороны должен иметь намного больше понимания их и уважения, чем это обычно бывает у поляков, потому что поляки и в XIX столетии, и позже смотрели на литовцев как на жителей региона нашей культуры, в котором только немногие пользовались каким-то странным языком. Так вот, я захотел этот «странный» язык узнать, и мне это удалось, потому что к литовцам и их языку я отношусь с огромным уважением.

— *А всё-таки: каким образом в юности вам удалось выучить этот язык?*

— Иногда довольно-таки жестоким. У меня была норма — 90 новых слов ежедневно. Мой отец за этим следил, и если из этих 90 я не выучивал хотя бы 80, то он лишал меня ужина. Такое самоограничение я сам себе установил. Ведь в 18 лет вам очень хочется есть, и поэтому я был хорошим учеником.

— *То есть вы изучали его самостоятельно по учебникам?*

— По учебникам. Но мне также удалось познакомиться с человеком, который замечательно знал литовский. Он был поляком из Литвы (хотя в XVII веке его предки появились там как шведы). Он был сослан в Сибирь, в 1940 е дважды бежал оттуда, но каждый раз его хватали и возвращали обратно. В конце концов ему вместе со своим дядей удалось выехать во время так называемой поздней репатриации — в 56 м или 57 м году. Его дядя в Сибири сильно заболел и выжил только потому, что его племянник убеждал его: «Мы будем жить в Кракове». Это желание стало их главной мечтой, и потом они не только приехали в Краков, но этот человек стал работать здесь гидом. Он настолько полюбил наш город, что выучил все его достопримечательности. Этому человеку, уже ушедшему от нас, я буду благодарен до самой смерти.

...Польскому послу в Вильнюсе надо было стараться постоянно улучшать отношения с независимой Литвой в условиях существования проблемы с польским меньшинством, которая, к сожалению, до сих пор актуальна. Еще более усложняло задачу то, что в некоторых местностях это меньшинство оказывалось большинством, а в его среде действовало коммунистическое влияние. Так что литовское руководство смотрело на него с определенной подозрительностью.

Поляки в Литве иногда выражали свое самоощущение словами о том, что не они отошли от Польши, а Польша отошла от них. И мне надо было найти ту золотую середину, чтобы, с одной стороны, помочь им как полякам, как той части нашего народа, которая осталась вне границ Польши, а с другой — внушить им, что в новых обстоятельствах они должны быть лояльными гражданами литовского государства.

Литовцы тоже шаг за шагом учились выстраивать свои отношения с поляками. Учитывая, что сегодня поляки входят в правительство независимой Литвы, то определенный путь нам удалось пройти. Хотя там осталось и довольно-таки много, ни в коем случае не хочу сказать, мелочей, но, так сказать, локальных проблем, которые надо тщательно и спокойно решать и которые вытекают из договора о добрососедстве, подписанного нами с Литвой, надо сказать, довольно поздно. И хотя со времени его подписания прошло уже довольно много лет, некоторые положения этого договора до сих пор не выполнены литовцами, о чем мы им постоянно напоминаем. Проблемы эти связаны с условиями существования и развития польского меньшинства, в том числе со свободами коллективными и индивидуальными. Например, речь идет о написании на двух языках названий населенных пунктов — подобно тому, как это делается в Польше и других странах Евросоюза.

— У вас не создалось впечатления о том, что за годы пребывания в составе империи — сначала Российской, потом советский — какая-то часть местного польского населения потеряла свое национальное самосознание? Например, когда приходится слышать польскую речь литовских поляков, то часто не покидает ощущение того, что это по-польски говорит русский человек (или белорус), который просто выучил польский язык по учебникам. У них настолько сильно заметен восточный акцент, что их польский не производит впечатления родного для них языка.

— Я абсолютно другого мнения. Самое главное — это их самоидентификация. Наш подход: не мы определяем, кем является этот человек. Главное, это кем он сам себя ощущает и как он связан с польской культурой. И тогда проблема того или иного акцента не имеет никакого значения.

Кроме того людей из царского времени уже не осталось, а после него ведь было еще двадцать лет независимой Польши, в которой именно эта ее часть отличалась патриотизмом — начиная с Пилсудского, который в то время был почти богом и, можно сказать, солью этой земли и частью ее мифа. И у этих людей иногда даже можно поучиться традиционному польскому мышлению.

А советская политика там была такова, что отношения между литовцами и поляками, живущими в Литве, ни в коем случае не должны были быть очень хорошими. В советское время там было много хорошо оборудованных польских школ, но воспитание они давали коммунистическое. И вы правы в том смысле, что там довольно-таки много русифицированных людей, отличающихся традиционным коммунистическим подходом.

Проблема эта частично проистекает из того, что те поляки, что остались в Литве, оказались без интеллигенции как среды. Польская интеллигенция там была либо истреблена гитлеровцами, либо вывезена коммунистами в глубь Советского Союза, либо (и прежде всего) выехала в Польшу. Еще некоторое время назад уровень образования людей и экономического развития той территории, где жили поляки, отставал от других частей Литвы.

Сейчас положение немного изменилась, и за время независимости Литвы у поляков уже появилась новая интеллигенция. (Я хочу подчеркнуть, что элементом польского существования в Литве является хорошая организация польских школ, которая очень высока с точки зрения наличия учителей и их активности.) Другое дело, что эти люди часто выезжают потом за границу — продолжать учёбу в польских университетах или работать где-нибудь в Лондоне. Эта проблема, правда, касается не только поляков, но и литовцев.

— Но напомним о том, что командиров Вильнюсского и Рижского отрядов ОМОН, совершавших в 91-м году страшные преступления в попытке сохранить советскую империю от развала, звали Чеслав Млынник и Болеслав Макутынович. И были они, конечно, никакими не поляками, но типичными советскими людьми. Недаром их деятельность вызывала восторг у многих советских имперских патриотов.

— Я согласен с вами. Я тоже много таких людей встречал. И если бы я встретился с Дзержинским, то тоже не считал бы его поляком в том смысле, в каком я это понимаю.

БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Когда моя работа в Литве заканчивалась, президент Квасневский под конец своего президентства захотел, чтобы я возглавил (в ранге министра) Бюро национальной безопасности. Это — важный орган, хотя, конечно, не такой важный, как Совет безопасности в России (в России эта структура намного сильнее), но касается безопасности в более широком значении этого слова. В этой должности я проработал год, и это снова было чрезвычайно интересное для меня время.

Проблемы безопасности государства многогранны, и направлений работы в интересах ее обеспечения возникает всё больше и больше. В числе этих новых направлений, например, кибернетическая безопасность страны. Некоторые из них появляются на наших глазах, и никто не знает, во что они выльются в будущем. Это, к примеру, проблема беспилотных самолётов, которые становятся всё меньше и меньше и могут уже почти достигать размеров насекомого.

Мой подход таков: если мы не в состоянии защитить себя старыми методами, то мы должны идти вперед, стараясь сотрудничать с другими странами в том числе и в тех сферах, где раньше действовала только конкуренция. К сожалению, мы сейчас живем в такое время, когда государства и их власти стремятся защищать свой суверенитет в старом националистическом стиле, при котором в соседней стране чаще видят врага, чем доброго соседа и партнера. Но я думаю, что в итоге мы всё-таки подойдем к такому образу мыслей, при котором умение многогранно сотрудничать с другими дает свободу нам самим.

Сейчас в России преобладает тенденция к ограничению влияния негосударственных организаций, которые являются совершенно необходимым элементом современной жизни. Видеть в них «иностранных агентов» — это цинизм и какая-то историческая наивность.

Я упомянул эти аспекты в контексте национальной безопасности, потому что требования к ней всё время меняются и с уровня национальной безопасности переходят на уровень безопасности международной. Когда я работал в БНБ, то занимался там проблемами как традиционной безопасности (военной, связанной с деятельностью спецслужб и т.д.), так и безопасностью продовольственной и экологической. Помню, как ко мне даже приходили экологи, которые боролись за защиту морских животных на побережье Балтийского моря.

— Я совершенно не представляю себе работу БНБ, однако с ваших слов догадываюсь, что она носит скорее методологический характер, нежели распорядительный. То есть оно, видимо, вырабатывает предложения, которые реализуют уже другие органы власти? Кстати, когда мой знакомый польский политолог-русист переходил на работу в эту структуру, то предупредил меня о том, что БНБ — «это на самом деле не так страшно, как звучит».

— Работа БНБ тесно связана с Канцелярией президента, и даже сам его офис расположен прямо за президентским дворцом. Президент может быть инициатором принятия новых законов или концепций, может давать толчок к началу общественных дискуссий, и работа БНБ заключается, говоря простым языком, в оказании президенту определённой помощи в этих его инициативах. Значительная область работы БНБ — это его сотрудничество такого характера с другими структурами других стран. За время своей работы там я успел принять делегацию российского Совета безопасности, участвовал в налаживании сотрудничества с американцами, Израилем, с Турцией. Я и сам побывал с официальным визитом в нескольких странах, так как наш президент часто брал меня с собой. Помню, например, встречу с Лукашенко: мы тогда занимались проблемой польского меньшинства в Белоруссии и судьбой Союза поляков, на который белорусская администрация оказывала серьезное давление. Посетил я, конечно, и Киев.

— В том числе в ходе знаменитых визитов Квасневского во время «оранжевой революции»?

— Нет, тогда я уже работал в Вильнюсе.

А когда у нас сменились президент и правительство и была провозглашена новая политика, я решил отдохнуть, взять отпуск и некоторое время пожить в свое удовольствие где-нибудь в Австрии или Швейцарии.

СНОВА МОСКВА

Не прошла и неделя после моего отъезда, как меня разыскали в Европе, после чего мне пришлось срочно выехать в Варшаву, где мне сообщили о предложении отправиться послом в Россию. Так начался мой новый российский период, продлившийся с 2006 до поздней осени 2010 года.

— *Мой уже традиционный вопрос касается причин отличного знания вами языка очередной страны пребывания. Как все поляки, вы учили русский только в школе или потом еще где-то специально совершенствовали его?*

— Я если не в начальной школе, то в гимназии старался активно заниматься русским языком. Потом для сдачи экзамена на аттестат зрелости нужно было сдавать один дополнительный предмет, и все выбирали математику, физику или историю, а я оказался единственным в нашей гимназии, кто выбрал русский язык. Конечно, тогдашним властям это очень понравилось, и меня демонстрировали как образец. Но никто не знал, какова было подоплека: я просто следовал своему плану лучше узнать наших соседей такими, какие они есть на самом деле, и поэтому нуждался в русском языке.

— *После того, как Стефан Меллер закончил свою работу послом в Москве и стал министром иностранных дел, появилась информация о том, что послом в Москву он собирается назначить моего старого доброго знакомого Кишиштофа Занусси — насколько я понимаю, в силу своих добрых личных отношений с ним. И хотя, конечно, мне было бы приятно иметь в качестве посла в Москве своего хорошего знакомого, но я тогда являлся решительным противником этого назначения, потому что считаю pana Кишиштофа выдающимся кинорежиссером и не хотел, чтобы он на несколько лет прекращал работу в кино, бросал Варшаву, стаю своих лабрадоров и перебирался в Москву на чисто государственную работу. Теперь, по прошествии стольких лет, Вы можете рассказать о том, почему тогда всё-таки не состоялось это назначение и почему послом в Москву отправились вы?*

— Я не знаю подробностей этого выбора, но я совершенно согласен с вами в том, что это была бы потеря с точки зрения польской, и не только польской, культуры. С другой стороны, тоже зная г н Занусси, я могу сказать, что он и без этого звания остается послом. Потому что среди наших самых больших художников не найти другого, который бы так старательно и столько лет занимался налаживанием сотрудничества с Россией. Через его дом прошло много людей из России, он сам часто приезжает в эту страну проводить творческие мастерские и осуществлять разные другие программы. Так что назначение его чиновником стало бы действительной потерей. Ведь работа посла в немалой степени заключается в административной деятельности, а в том качестве, в котором г н Занусси трудится сейчас, он делает очень много для установления между нашими странами хороших отношений.

— *Что важного вы можете выделить из опыта своей работы в Москве?*

— Начало ее было довольно-таки сложным, потому что тогда у нас действовало правительство, которое, я бы так сказал, было не в состоянии найти способ установить хорошие отношения с Россией. Это касается как МИДа, так и самого президента Качинского. И, несмотря на определенные попытки в этом направлении, в целом этот период был потерянными временем для наших отношений. Хотя с точки зрения чисто человеческой я очень высоко оцениваю свои отношения с президентом и с удовольствием вспоминаю свои встречи с ним. Но когда пришло новое правительство, мне стало работать легче.

Я знаю, что для России атмосфера отношений имеет значение большее, чем для других стран, потому что вы всё связываете со всем. И если в политической плоскости отношения не очень хорошие, то это сразу начинает отражаться и на уровне, например, культурного или экономического сотрудничества. Отражением таких проблем был мясной конфликт, ситуация вокруг газопровода «Норд-стрим» и другие. Это и перемены на Украине, которая важна как для России, так и для Польши.

Для меня огромное значение имело то, кто с нашей стороны проводит в посольстве эту политику. Я очень рад, например, тому, что в это не очень благоприятное в политическом отношении время директором нашего Культурного центра был г н Хиероним Граля — знаток России и ее истории. Нам, как мне кажется, удалось сделать что-то хорошее в области своих музыкальных и, вообще, культурных связей с Россией и не только их.

На сегодня эти отношения нельзя назвать примером добрососедства (до этого еще довольно-таки далеко), но, с другой стороны, они всё-таки нормальные и не носят такого характера, когда самое главное — идеология. Хотя, конечно, этой идеологии в наших отношениях слишком много, и было бы лучше, если бы ее было поменьше — и с одной, и с другой стороны.

В то время, когда я работал в Москве, там как раз прокатилась кампания за новое историческое мышление, новый подход к исторической политике, которая касается использования прошлого для отношений сегодня и на будущее. В этом было много идеологии как с одной, так и с другой стороны, и для меня прежде всего это было препятствием для нормальных отношений, потому что подход здесь остается разным и с русской, и с польской стороны. Я считаю, что нельзя выделять это как самое важное, потому что у нас есть и другие проблемы, которые надо решать.

— Как кажется, одной из важнейших таких проблем для Польши вот уже долгое время остается сокрытие российской военной прокуратурой многих аспектов катынского преступления. Можете ли Вы теперь раскрыть какие-то засекреченные прежде моменты борьбы польского МИДа за полное раскрытие правды о Катыни?

— Катынь уже ни для кого не тайна. Мы только хотим полной правды, которая — как верим — пригодится самим российским гражданам для оценки их коммунистического прошлого.

— Безусловно, важнейшим событием за всё время вашей работы в Москве стала смоленская катастрофа, которая чуть не оказалась для меня личной трагедией, потому что в то утро в числе погибших в ней людей «Эхо Москвы» назвало и моего личного доброго знакомого — вас, г-н посол. Можете вы теперь рассказать о том, как пережили этот день?

— Появление моей фамилии в списке погибших было связано с тем, что я был членом официальной делегации. Но с самого начала так планировалось, что я не должен был находиться в том самолете.

Мне не хочется еще раз описывать всё пережитое мною в тот день, и я хочу сказать только, что, во-первых, я никогда, конечно, не забуду этого страшного дня. Кроме того, я столкнулся с невероятной симпатией многих людей — когда они узнали, что я всё-таки жив. Я это ценю и этого тоже не забуду. Некоторые подчеркивали, что в их глазах я как будто во второй раз родился. К сожалению, для этой моей второй жизни не осталось много времени. Но я и так уже увидел в своей жизни возвращение независимости моей страны и независимости стран и народов вокруг нас, что для меня тоже чрезвычайно важно.

— Можете ли вы разъяснить российскому читателю подход польской стороны к расследованию смоленской катастрофы?

— К сожалению, я не могу разъяснить польский подход, потому что сами поляки разделились в этом вопросе. И разделились чрезвычайно драматически и в такой форме, которая нас самих, поляков, удивляет. Можно сказать, что есть подход одних поляков, есть подход других поляков и есть непонимание поляков между собой насчет Смоленска. Поэтому, чтобы дать честный ответ, надо иметь в виду оба эти подхода.

Один подход носит характер, я бы сказал, определенной прагматичности. Этот прагматичный подход не исключает некоторых упреков по адресу русской стороны, но они не носят принципиального характера. Так, мы, конечно, не понимаем, почему в течение трех лет нам не возвращают обломки самолета, которые уже не представляют никакого интереса для следствия, и можем только догадываться, что для России это имеет какое-то политическое значение, и хотели бы узнать, что для нее эти обломки значат практически.

С другой стороны, мы сами знаем, что эти обломки приобретают всё более и более символический характер для нас самих. Для некоторых поляков это святая святых в отношениях между нашими двумя народами, что я считаю не только наивностью, но просто глупостью. Наше правительство старается сейчас эти обломки вернуть в Польшу, но я считаю, что можно выглянуть из-за этих обломков и посмотреть на какие-то конструкции будущего, а не только на обломки. Так что, как видите, и для нас самих в этом существует проблема.

— Я догадываюсь, что когда обломки самолета всё же будут возвращены в Польшу, то они непременно станут предметом какого-то культа, и их наверняка никто не осмелится утилизировать, а создадут для них что-то вроде пантеона — мемориала и места поклонения.

— По всей вероятности, это так и будет, потому что никто сегодня не посмеет поднять руку на эти обломки в том смысле, в каком вы сказали, — утилизировать, потому что такого человека сразу же назвали бы смертельным врагом Польши. Ведь среди части польского общества имеет место такой чисто психологический феномен: некоторые люди хотят молиться на эти обломки.

Другой подход заключается в том, что надо всё выяснить до конца, постараться выработать такие процедуры, которые бы не позволили ничему подобному никогда повториться, купить новые самолеты и летать на них с

пилотами, которые не сделают таких страшных ошибок. Надо также сделать так, чтобы такие поездки за границу никогда не имели политического характера.

Ведь ясно, что тогда, в 2010 г., обе стороны этого внутривосточного конфликта использовали катынскую проблему в своих собственных интересах и это закончилось большим несчастьем. А первым несчастьем стало то, что даже на кладбище в Катыни поляки тогда поехали раздельно, и я это считаю нашей внутренней трагедией. Я подчеркиваю трагизм этой ситуации, потому что не представляю себе, как можно, глядя глаза в глаза тому страшному прошлому, что случилось в 1940 г. в Катыни, удовлетворять какие-то свои собственные интересы. (Я это считаю кощунством — независимо от того, кто и в какой степени это делал.) По дороге туда случилась несчастье, можно сказать, технического характера, а за этим пошла если не катастрофа, то, во всяком случае, сегодняшняя ситуация, когда польское общество представляет собой картину такого разделения между поляками, которого раньше никогда не было — даже, может быть, в коммунистическое время. И должно пройти какое-то время, чтобы эта рана зарубцевалась.

Мы сейчас входим в довольно-таки сложный период нашей жизни, связанный не только с теми внутренними проблемами, о которых я говорил, но в большой степени с проблемами наших соседей в Европе. Это и мировой кризис, и развитие России не всегда в таком направлении, как нам мечталось бы. Сегодня по причинам, о которых я сейчас старался вам рассказать, полякам не удастся преодолеть всё это с легкостью, потому что мы сами немного больны.

— Вы уже сказали что-то о причинах смоленской катастрофы, однако в среде польской оппозиции распространены совсем другие версии. При этом называются взаимоисключающие вещи — искусственный туман, взрыв на борту... Говорят и про то, что, с одной стороны, выживших в катастрофе добивали уже на земле, а с другой — что трое людей всё-таки пережили катастрофу и делись потом неизвестно куда. Я — человек, исходящий из того, что нет такого преступления, которое бы не могли совершить наши чекисты, и верящий, например, в то, что это именно они в 1999 г. взрывали дома в Москве — не вижу никаких свидетельств в пользу, как это называют в Польше, «теории покушения». А каков ваш взгляд на причины смоленской катастрофы?

— Я смотрю на это однозначно: туман, про который вы упомянули, — он в головах тех, кто говорит об искусственном тумане. И «покушение» — это покушение на здравый смысл. Я допускаю, что не все аспекты катастрофы ясны до конца, и понимаю, откуда происходит разница в текстах российского и польского заключений о ее причинах (иногда чувствуется, что каждый тянет одеяло на себя). Но даже если растет количество поляков, которые верят в теорию покушения, то это чистая вера. Но в таком случае почему бы и мне ни верить правительству моей свободной страны? Я могу не верить в то, что им удалось раскрыть все аспекты этой страшной катастрофы, но их добрая воля и желание для меня очевидны.

Конечно, обычному поляку не очень хочется признать то, что мы сами могли сделать такие чисто технические ошибки, что такие ошибки — почти детские — мог сделать пилот. Тем более страшные, что этот пилот сам стал их жертвой. И что бы ни сказали члены семей погибших пилотов — я бы им поверил. Я бы согласился с ними, если бы они сказали, что виновником катастрофы был ангел зла, которого все видели сидящим на известной березе. Но я ни в коем случае не соглашаюсь с тем, чтобы кто-то использовал эту трагедию в собственных политических целях. Я верю в то, что наши специалисты знают свое дело и что в конце концов они придут к окончательному результату, который, я думаю, не будет сильно отличаться от того, который мы уже знаем.

Совсем другая вещь — это образ мыслей многих поляков в самых разных ситуациях. Например, по поводу кризиса, в котором кто-то потерял работу: кто-то же должен быть виноват в том, что моя личная судьба не сложилась. И тогда, конечно, легче всего будет показать пальцем на соседа, который в этом виноват.

Должен сказать, что после Смоленска я совсем другими увидел русских. Если раньше я знал, что «Москва слезам не верит», то тут я чувствовал слёзы и видел их. И нам как соседям и вообще, порядочным людям нельзя забыть о том, как обычные русские люди с улицы выражали свою солидарность с нами.

Я не скрываю, что из своей работы в России я вынес огромную массу критики в отношении характера сегодняшнего развития вашего государства. Но, с другой стороны, я вынес и огромную симпатию к людям. Смоленск показал мне другое лицо русских — лицо, о котором поляки или не знали, или не верили в то, что оно может быть таким, или просто не хотели знать. А я, как христианин, это ценю.

— Вне зависимости от того, было покушение или нет, нельзя не признать, что после прихода на пост президента Бронислава Коморовского польская внешняя политика стала больше поддаваться влиянию

линии Путина (которого, напомню, многие правозащитные организации в нашей стране обвиняют в совершении военных преступлений).

— Я хочу сказать, что в подозрении насчет того, что политика президента Коморовского стала особенно пророссийской, я вижу мало сказать нелепость, но просто глупость, потому что тому нет никаких доказательств. Коморовский не посещал Россию с официальным визитом, и из России в последнее время к нам не приезжал никто из числа тех, чей приезд можно бы было расценить как какой-то сигнал. Вообще нет таких доказательств, которые могли бы подтверждать особенные связи сегодняшней Польши с Россией. Это отношения соседей.

— Намекая на его прорусскость, оппозиция даже переименовывает фамилию президента, называя его Коморусский.

— И в том и в другом случае это — чистая глупость.

— Вообще я хотел бы понять, насколько смена президента может повлиять на изменение внешнеполитического курса. Потому что в моем представлении президент Польши — фигура скорее церемониальная, и единственно, на что он имеет влияние, — это внешняя политика и оборона. А раз Польша — парламентская республика, то в большей степени за ее внешнюю политику должно отвечать правительство — в лице министерства иностранных дел.

— Как вы правильно сказали, Польша — парламентская республика, но какие-то аспекты внешней политики всегда могут зависеть от президента. В ней для Коморовского особенно важен региональный аспект, который я не всегда вижу в политике МИДа. И если МИД больше занимается делами Веймарской группы, то президент особенно активен в делах нашего региона — Вышеградской группы, стран бассейна Балтийского моря, отношений с Чехией и Словакией. И те, кто критикует Коморовского, не дают никаких примеров его практической активности, которыми можно бы было подтвердить его пророссийскость. Конечно, по сравнению с временами президента Качинского несколько ослабла активность польской дипломатии на кавказском направлении, но надо сказать о том, что изменилась и ситуация на самом Кавказе. То же самое можно сказать и насчет Литвы, где между Коморовским и Грибаускайте трудно представить себе такую же близость, как между Качинским и Адамкусом.

Но я понимаю, почему эта критика имеет место — потому что критики не могут вынести того, что Коморовский — самый популярный среди всех польских политиков и что уровень его популярности стабильно держится на уровне 68-72%. При этом популярность лидера оппозиции находится примерно на уровне 33%. То есть я понимаю эту критику с политической точки зрения, но совершенно не вижу никаких оснований для критики деятельности Коморовского. В Польше, которая сегодня разделена, наличие президента с такой высокой популярностью ценно само по себе. Наше общество нуждается в таком человеке, который с помощью здравого смысла учил бы нас спокойствию. А особенность Коморовского состоит в том, что его понимают так называемые простые люди, которые поэтому и оказывают ему поддержку.

Я рад тому, что президент увидел, что наша дипломатия в последние годы не всегда в должной степени занималась отношениями с нашими соседями, потому что мы были больше заняты Евросоюзом, в котором Польша могла бы играть более серьезную роль. Это позиция министра иностранных дел Сикорского, который, впрочем, в последнее время стал очень активен и в отношении Вышеградской группы, что, правда, может быть связано с нынешним председательством в ней Польши. А у Коморовского к этому, я думаю, и душа больше лежит.

Так что я абсолютно не согласен с мнением о том, будто бы Коморовский настроен особенно пророссийски. Я вижу его как спокойного реалиста — и только.

— А всё-таки: кто в Польше имеет большее влияние на проведение внешнеполитической линии — МИД или президент?

— Конечно, внешняя политика всегда дает хороший результат, когда существует взаимодействие между обоими этими институтами. Сегодня я вижу нормальное сотрудничество между ними.

Разумеется, при назначении, например, послов сталкиваются интересы самых разных политических сил, и в этой ситуации можно предположить наличие каких-то проблем, но они, во-первых, не видны, а во-вторых, сегодня они не имеют особенного значения. Так что у нас существует достаточно реальных проблем в отношениях между поляками для того, чтобы искать еще какие-то мнимые.

Внешняя политика Польши абсолютно нормальна, и в ней на сегодня не видно какой-то нездоровой конкуренции между МИДом и президентом. Если кто-то утверждает обратное, то делает это потому, что желает, чтобы так было. Обе стороны — и президент, и Сикорский — очень осторожны друг к другу и ведут себя достаточно интеллигентно, чтобы не создавать даже видимости конфликта.

Конечно, со стороны МИДа больше выделяются связи в рамках Евросоюза, а со стороны президента — региональные связи, что в определенной степени продолжает политику Качинского. Вообще я бы не стал противопоставлять внешнюю политику Качинского линии Коморовского. Просто политика Качинского содержала более драматичные моменты.

— В России распространено мнение о том, что если во времена нахождения у власти братьев Качинских польская дипломатия была ориентирована на установление близких отношений прежде всего с США, то сегодня глава правительства Туск проводит линию на установление близких отношений прежде всего с Германией, что оппозиция и ставит ему в вину. Получается, что внешнеполитический вектор Польши всё-таки изменился?

— Меняются лишь акценты, но фундамент остается тем же самым — наши отношения с США и Германией одинаково важны. А существование такого мнения я отношу на счет того, что журналисты, которым наскучивает обыденность, иногда ищут чего-то «жареного».

А вот в польско-российских отношениях за время после Смоленска действительно возникли новые аспекты. Мы, например, осуществили эксперимент, открыв часть России — Калининградскую область — для нас, и наоборот. Не скрываю, что меня это чрезвычайно интересует. Я связываю с этим определённые надежды.

— Замечу в связи с этим, что мой близкий товарищ — москвич родом из Калининграда — задумывается над тем, чтобы возобновить свою калининградскую прописку с целью воспользоваться теми возможностями, что в ответном порядке предоставила Польша жителям этого анклава.

— Я этому не удивляюсь, потому что ваш товарищ — современный человек с нормальными желаниями сегодняшнего европейца. Но мы рассматриваем данную ситуацию еще и как определённый эксперимент, который докажет Варшаве (и не только Варшаве, но и Москве, и Брюсселю), что он оправдал наши ожидания и полезен нам всем.

— Напомню о том, что совсем недавно главы российского и польского МИДа приняли очередную декларацию о необходимости установления для российских граждан безвизового режима с государствами Шенгенской зоны. В первый раз подобную декларацию представители России и Запада приняли еще несколько лет назад. Стоит ли за этой новой декларацией что-либо, кроме очередных красивых слов?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Сам я хотел бы, чтобы это пошло в таком направлении, но я знаю, в чём заключаются препятствия. Имея в виду, что сейчас Европа занята своими проблемами, прежде всего экономическим кризисом, я бы был в этом острожным оптимистом. Конечно, намного легче станет, когда Европа выйдет из кризиса, но, на мой взгляд, введение безвизового въезда — проблема не скорого будущего. Если, конечно, не будет политического решения. Но я его не жду. И следующий такой эксперимент может быть осуществлен скорее с Украиной, чем с Россией. Впрочем, и с этим будут проблемы, потому что Россия всегда может повлиять на Украину с тем, чтобы последняя не шла в Европу быстрее самой России. Так что это не такая простая проблема.

Мы все учимся. Россия тоже учится вести дела с Европой. Ведь одной из проблем отношения России к Евросоюзу было то, что она долгое время не считала Евросоюз серьезным партнёром. России всегда было намного выгоднее иметь билатеральные связи, в которых она имеет огромный опыт.

Я часто сталкивался с таким подходом, когда российская сторона смотрит на Евросоюз как на что-то либо несерьёзное, либо временное, либо мнимое. В действительности же это попытка (я не знаю, удастся они или нет) зайти в объединении так далеко, как не заходил никто раньше. Это просто фантастика — как наш континент впервые становится единым организмом.

Конечно, Россия для Европы является заметным, но не важнейшим партнером. И если сегодня огромный потенциал России не реализуется, то происходит это из-за характера политической системы России. Это — препятствие на пути экономического развития России. Россия сегодня во многих аспектах не современная страна.

— *Продолжая тему личных контактов граждан двух стран, я хочу спросить: не вас ли я должен подвергнуть суровой критике за усложнение процедуры получения в России польских виз? Введение обязательной электронной визовой анкеты — форменное издевательство, потому что человек со средними умственными способностями вроде меня просто не способен ее правильно заполнить ни за те два часа, которые отводились на это год назад, ни, тем более, за час, как это требуется сейчас. Этот шедевр бюрократической мысли напоминает интернет-игру на прохождение в установленное время какого-то интеллектуального теста. Кроме того, анкета и инструкция по ее заполнению содержат ошибки как в русском языке, так и смысловые; некоторые пункты в анкете просто невозможно правильно заполнить. Не говорю уже о том, что анкета не может предусматривать всех жизненных обстоятельств человека и вообще оказывается недоступной для людей без компьютера. Так что если бы я был сторонником теории заговора, то подумал бы, что такие препятствия создаются специально для того, чтобы направить желающих получить польскую визу в многочисленные посреднические фирмы, аффилированные с консульством и небескорыстно помогающие россиянам заполнять эти злополучные анкеты.*

— Скажу вам, во-первых, что если бы мне предстояло решать задачу с получением визы таким образом, то я бы никогда её не получил, потому что мое умение разбираться в таких задачах в несколько раз ниже вашего.

— *Кстати, в Москве о вас ходила легенда, что вы совсем не пользуетесь компьютером и интернетом...*

— Нет, я пользуюсь, но только умею это делать очень плохо. И поэтому могу представить себе, какие мучения мне пришлось бы пережить, если бы я сам занялся заполнением такой анкеты.

Я не знаю, почему дело обстоит таким образом, но я знаю, что в нашей современной жизни встречаются элементы идиотизма. Никакого заговора в этом я не вижу, а вижу определённую глупость.

— *А корыстный интерес?*

— Может быть. Но я не знаю, какой может быть размер этой корысти...

— *После того как официальные посредники, аттестованные польским консульством, стали брать за помощь в оформлении анкеты 18 евро, на ту же самую сумму возросла и стоимость виз в Польшу у туристических фирм.*

— Конечно, каждый знает, что там, где находится место посредникам, всегда несут потери те, кто хотел бы пойти прямым путем.

ПЕНСИОНЕР ВСЕПОЛЬСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

...После Москвы я еще некоторое время поработал в Варшаве в МИДе, а потом с большой радостью вышел на пенсию.

— *Как бывший высокопоставленный чиновник, вы получили от государства какие-нибудь специальные привилегии?*

— Что вы имеете в виду?

— *Ну, например, по шутливой аналогии с советским временем это могло бы быть звание «Пенсионер всепольского значения» с соответствующей повышенной пенсией.*

— У нас такого нету. А если говорить о пенсии, то сегодня не существует доплат к ней даже за государственные награды. По нашей сегодняшней философии вам должно быть достаточно обычной пенсии. И я считаю нормальным, что сапер, который выслужил на своей работе установленный срок, получает пенсию в полтора раза выше моей.

Я горжусь тем, что на общественных началах, то есть совершенно бесплатно (и я с этим абсолютно согласен), я могу участвовать в каких-то мероприятиях или выступать в качестве советника. Например, я член капитулы ордена Возрождения Польши при президенте Коморовском, член Польско-российской группы по сложным вопросам, член Совета Фонда им. Яна Новака-Езёранского и некоторых других подобных общественных структур. Всё это помогает мне проявлять свою общественную активность.

— *Получается, что единственное, чем вы были отмечены при выходе на пенсию, это пожизненное звание посла?*

— Да. Есть некоторое количество бывших послов, которые получают от президента право сохранить за собой это звание до конца своей жизни. Называется оно «титулярный посол».

— Я знаю, что вас иногда вызывают в Варшаву к президенту. Наверное, на заседание одной из упомянутых выше структур?

— Да, время от времени президент, премьер-министр или люди из их окружения устраивают мозговые штурмы по поводу тех или иных проблем, и я, прямо как юный пионер, всегда готов в этом участвовать. А еще меня приглашают на различные доклады и встречи, которых у меня, я бы сказал, даже слишком много.

— Я хотел бы задать вам вопрос не столько профессионального, сколько философского характера. Я всегда, скажем так, без особого уважения относился к дипломатам как к людям, по определению не имеющим собственной воли и политических взглядов и в силу вещей всю свою жизнь обязанных проводить линию тех политических сил, которые в данный момент находятся у власти в их стране. Теперь мне известен один пример, когда дипломат ушел в отставку по причине несогласия с политикой своего правительства, — ваш пример. Есть ли вам что сказать в оправдание дипломатии как профессии?

— В каждой профессии многое зависит от личности. Например, в истории нашей дипломатии, а также дипломатии бывших социалистических стран дипломатами часто становились поэты, известные журналисты или люди науки. И если они потом возвращались к своему прежнему роду занятий, то считали этот период чем-то вроде командировки.

Я сам знаю многих дипломатов, которые были очень интересными представителями самых разных областей знаний. Чтобы далеко не ходить, назову нынешнего польского посла в России, известного ученого, автора написанной совсем недавно огромной монографии о калмыках, бурятах и других менее известных у нас народах России. И это чрезвычайно интересно для тех поляков, которые занимаются вашей страной.

Конечно, если дипломат видит дипломатическую службу как место, где можно только посещать приемы и получать чины, награды и прочие прелести, то он просто глуп. Во-вторых, он просто не понимает, что дипломатическая служба сегодня выглядит совсем по-иному. Это, прежде всего, тяжелая работа, которая сейчас — в век новых вызовов, в том числе технологических — выглядит совсем по-другому, чем раньше. Сегодня, например, может оказаться так, что при всеобщем распространении средств связи дипломат в столице государства, привыкший раз в две недели посылать в МИД свои отчеты о ситуации в стране пребывания, просто не выдержит конкуренции блогера, он-лайн описывающего, допустим, начало революции на какой-нибудь площади. Поэтому сейчас перед дипломатической службой встают совсем другие проблемы, и она уже не символ блеска, развлечений и роскошной жизни, как было раньше.

— За те несколько дней, что я прожил в вашем доме и наблюдал за вашей повседневной жизнью, я увидел, что всё свободное время вы посвящаете обустройству своего нового дома — в первую очередь, украшению его аппликациями собственного изготовления. Откуда у вас такое интересное хобби?

— Весь опыт прожитой жизни я стараюсь выразить в искусстве, в котором хочу оставить какой-то след. Это счастливый момент — когда что-то такое удастся создать самому. Это всё приносит дополнительную радость. Поэтому если вам нужно будет найти счастливого человека, то я в Вашем распоряжении.

Вообще, независимо от всех сложностей, я считаю сегодняшнее время полным, я бы сказал, светского блаженства. Даже то, что вы можете задавать мне такие вопросы, а я могу на них так отвечать, это... Ведь лет тридцать тому назад я был бы намного осторожнее в каждом своем ответе. Но сегодня я — человек намного более свободный. Надеюсь, что и вы тоже. И всё это элемент блаженства мира.

— А что, вы даже не пишете мемуаров?

— Я только что отдал в издательство свою книгу, которая выйдет осенью этого года. Так что, пожалуйста, не только сами ее прочитайте, но и порекомендуйте приобрести ее своим друзьям.

— Большое спасибо за это интервью.

— Да не за что.

Краков-Москва

1: КРОВАВЫЕ ЗЕМЛИ

Книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» собрала воедино и документально подтвердила преступность одного режима. Выразительная сила приведенных в ней фактов изменила способ мышления о советской системе у миллионов людей на востоке и западе разделенного мира. Книга Снайдера — это очень точно схваченный процесс формирования политики массовых преступлений в СССР и Третьем Рейхе, а также ее проведения на землях, завоеванных обеими диктатурами. Поразительно звучание самих только количественных сопоставлений, проделанных автором: оба режима уничтожили в течение 12 лет, с 1933 до 1945 г., во времена правления Сталина и Гитлера, около 14 миллионов человек. Это число охватывает только жертв смертоносной политики, а вовсе не военных действий, и в большинстве своем это были женщины, дети, старики — все без исключения люди, не носившие оружия.

Красноречивы любые фрагментарные факты, установленные в этой книге: антисемитизм Гитлера родился в стране, где еврейская община составляла менее одного процента населения, а к началу Второй Мировой войны евреев в Германии оставалось уже лишь около 0,25%. В тридцатых годах СССР был единственным европейским государством, проводящим политику массовых убийств. До сентября 1939 г. Гитлер убил максимум 10 тыс. человек, тогда как Сталин уничтожил миллионы, в том числе расстрелял свыше полумиллиона граждан, а остальных заморил голодом. Большинство жертв обоих режимов погибало за пределами своих родных земель, а наихудшим испытаниям подверглись Украина и Белоруссия, где население поэтапно депортировали, до смерти морили голодом, расстреливали, травили газом и снова морили голодом и расстреливали, а разжигаемая оккупантом партизанская война влекла за собой к тому же еще и эскалацию репрессий.

Речь идет об особой закономерности, характеризующей те земли, которые попадают из одной оккупации под вторую: о двойном коллаборационизме — к нему принуждал призрак смерти, собственной или ближайших родственников. Сталинская процедура массовых убийств родилась в результате катастрофического краха, принесенного коллективизацией сельского хозяйства; гитлеровская программа «окончательного решения» еврейского вопроса возникла в ходе завоевания Советского Союза, которое по замыслу должно было привести к превращению Третьего Рейха в колониальную державу.

Всю кровь этих 14 миллионов жертв, до последней капли, поглотила земля, завоеванная Гитлером и Советским Союзом и простирающаяся к востоку и западу от пограничной линии, установленной при подписании пакта Риббентропа—Молотова и тянувшейся от центральной Польши до западной России, через Украину, Белоруссию и прибалтийские страны.

Автор воссоздает историю смертоносной политики: начало ей положил нацеленный на Советскую Украину ужасающий голод, который лишил жизни около трех миллионов жителей; после него в СССР наступили годы большого террора (1937-1938). Сталин довел тогда дело до расстрела не менее 700 тыс. человек, главным образом крестьян и представителей национальных меньшинств. В 1939-1941 гг. Сталин и Гитлер совместно уничтожили Польшу и ее образованную элиту (200 тыс. человек). Затем нацисты напали на СССР, доведя до голодной смерти военнопленных и жителей осажденного Ленинграда (4 млн. человек). Свою историю имеет и Катастрофа: возникают гетто и концлагеря, принимается директива об «окончательном решении», рождается (словно бы случайно!) процедура реализации массового уничтожения: убивание голодом, душегубки, газовые камеры, расстрелы у рвов и ям, крематории в лагерях смерти (количественно они поглотили наименьшее число жертв).

Сталин действовал предумышленно; например, он мог предотвратить губительный голод, но не сделал в этом направлении ничего (автор проявляет здесь глубокое знание подноготной сельского хозяйства). Технику ожидания того, пока враг истечет кровью, он разработал задолго до Варшавского восстания, в СССР, потому что в противоположность Гитлеру истреблял подчиненное ему население в собственной империи. Из 14 млн. жертв, целенаправленно уничтоженных на «кровавых землях», одну треть нужно отнести на счет Сталина. Он проявлял огромный диалектический талант, состоящий в подгонке теории к очередным виткам раскручивающейся спирали преступлений: в 1930 г., вместе с наступившей Великой депрессией и крахом на американском рынке, Сталин объявил о начале грандиозного преобразования СССР из аграрной страны в индустриальную, а возможность для этого должна создать коллективизация сельского хозяйства; последняя приняла облик зверской колонизации собственных земель, в особенности Украины. «В те годы, когда у власти одновременно находились Сталин и Гитлер, на Украине погибло больше людей, чем где-либо еще на кровавых землях». Вместе с провозглашением коллективизации сельского хозяйства, индустриализации и пятилетнего плана возникает аппарат террора, который служит для ликвидации кулаков как класса: на основании приговоров назначенных

«троек» в первые четыре месяца этой акции было казнено 30 тыс. граждан и вывезено более 113 тысяч. В общей сложности из Украины депортировали в Сибирь, Казахстан и север европейской части России 1,7 млн. человек. Первый лагерь принудительного, иными словами, рабского труда на государство функционировал с 1923 г. на Соловках, были организованы новые лагеря особого назначения и спецпоселения; в 1931 г. их свели в единообразную административную систему — возник ГУЛАГ. Его узниками побывали 18 млн. человек, и, не дожив до освобождения, умерло примерно 1,5-3 миллиона заключенных.

Коллективизация сельского хозяйства закончилась катастрофой: трагический голод на Украине унес в могилу 3,3 млн. человек. Сталин решился на эскалацию террора: он провозгласил теорию об обострении классовой борьбы по мере строительства коммунизма. Это нашло свои отголоски в международной политике: коммунистам в Германии запретили вступать в союз с социал-демократией, которая была признана самым главным врагом; в результате на выборах в Рейхстаг победили национал-социалисты. Сталин задним числом извлек выгоду из прихода Гитлера к власти: он объявил СССР оплотом цивилизации и «родиной антифашизма», частично прекратил репрессии в деревне и возвестил о полной победе «второй революции» — ликвидации кулака в классовой борьбе. В международной политике он с 1934 г. провозглашал лозунг Единого фронта, девизом которого становится изречение: «Кто не с нами, тот против нас». Испания стала полигоном обеих диктатур, их первой крупной военной конфронтацией; НКВД в Барселоне проводил политику Единого фронта с помощью террора против троцкистов.

Взаимное воздействие обеих диктатур друг на друга, их тесная «сцепленность» — это персональный патент Снайдера-историка.

Свое место занимают в этой книге поляки; я вслед за автором привожу установленные им сведения: в СССР их обрекают на голодную смерть в Казахстане и на Украине, расстреливают в годы «большого террора», в тридцатых годах они пострадали сильнее, чем любое другое национальное меньшинство. В 1940 г. НКВД арестовало на оккупированных восточных землях Польши больше людей, чем на остальной территории СССР. В 1939 г. в Варшаве погибло столько же ее жителей, сколько во время налета союзников на Дрезден в 1945 г., причем для поляков это стало всего лишь началом кровавой войны, во время которой немцы убили миллионы польских граждан. Во время восстания 1944 г. количество польских жертв в Варшаве превысило число японцев, убитых атомными бомбами, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Во время Второй Мировой войны погибло 4,8 млн. польских граждан. Еще один миллион умер от последствий войны. Из общей численности жертв около трех миллионов приходится на евреев.

Возвращая политике массовых преступлений ее историю, автор опровергает многие из шаблонных взглядов (например, когда Аушвиц и другие концлагеря, в том числе лагеря ГУЛАГа, ошибочно признаются самыми важными в политике реализации жестоких убийств; на самом деле лагерь был альтернативой для немедленной казни в душегубках или путем расстрела; исключением были гитлеровские лагеря для советских военнопленных, где их преднамеренно доводили до смерти).

Лишь установив историю убийственной политики, можно сравнить между собой те две системы, которые ее использовали; и автор проделывает это, показывая много сходных черт их государственного устройства: это были режимы, подчиняющие индивидуальную жизнь политическим целям и ценностям, дезавуирующие парламентскую демократию и либерализм, основанные на вождистской однопартийной системе. Ханна Арендт первой сопоставила оба указанных режима, наделив их собирательным наименованием тоталитарных. Она пришла к заключению, что массовые индустриальные общества делают людей «лишними», а это запускает политику их устранения. Снайдер оспаривает целесообразность увеличения числа теорий, объясняющих способ функционирования индустрии смерти. Он констатирует, что доступные на данный момент знания об истории массового уничтожения скорее дезавуируют эти конструкты и заставляют обратить более пристальное внимание на роль взаимного воздействия обоих названных режимов, их устремлений и власти в военных условиях. Тем не менее Снайдер убежден, что именно применение и ход массовых преступлений выделяют оба этих режима в истории Европы. У читателя не возникает сомнений, что автор признаёт их самым важным негативным опытом нашей цивилизации. Как гуманист он требует возвращения человеческих свойств жертвам этого массового преступления; как историк он видит такую возможность в расшифровке индивидуальных черт всех его участников: жертв, исполнителей, свидетелей, тех, кто отдавал приказы, вождей. Он принимает вызов. Он хочет не только «объяснять преступления, но еще и учесть человеческие свойства всех, кто был с ними связан». Нацистский и советский режимы превратили людей в цифры. «В качестве ученых нам необходимо установить эти цифры и представить их в надлежащем контексте. В качестве гуманистов нам необходимо снова придать им человеческое измерение. Если решить такую задачу не удастся, это будет означать, что Гитлер и Сталин сформировали не только наш мир, но и наши человеческие качества».

На страницах своей книги историк многократно возвращает человеческое измерение нечеловеческому страданию, нечеловеческой политике уничтожения, нечеловеческой жестокости. Он обращает внимание, что техника убийства предполагала — снова в противоположность трафаретным суждениям — личный контакт жертвы и палача, описывает процедуры и технические приемы, которые управляли смертью и жизнью, а также имуществом людей в районе, подчиненном политике уничтожения. Снайдер замечает, что эти методы не были настолько современными, чтобы приписывать им покров анонимности; физический контакт жертвы, свидетеля и палача был неизбежен. Индивидуальными чертами обладает, в частности, и Сталин, чей характер и индивидуальность проглядывают из-за описанных в книге зверских деяний. Почти каждое упоминаемое в книге массовое убийство сопровождается количеством жертв, которым оно изобиловало; но, помимо этого, почти в любом из них есть свой герой — вызванная из небытия статистики фигура, которая доносит до нас личное свидетельство о данном преступлении. Автор приводит его описание, сделанное кем-либо, кто чудом уцелел, отмечает последние переданные свидетелем жесты жертв, фиксирует последний взгляд, внезапно оборвавшиеся слова последнего письма, прощальную надпись, которую процарапали на стене синагоги, предназначенной для сожжения вместе с верующими, записи из дневника. Эти надписи кто-то отыскал, эти письма сохранились, эти сцены кто-то запомнил и передал в своем повествовании. За каждой цифрой скрывается чей-то страх, чей-то крик, чье-то лицо. Историк идет по этому следу. «Только история массового убийства может связать в одно целое цифры с воспоминаниями», — пишет Снайдер.

Книгу перевели на 20 языков. Она должна стать обязательным чтением для каждого, кто задумывается над тем, в чем состоит «человеческое измерение» и что это значит — выступать в XXI веке за «человеческую» политику. Солженицын получил за «Архипелаг ГУЛАГ» Нобелевскую премию